

Зулейха открывает глаза

Роман этот начался с одной сцены. Женщина — уже не молодая, но еще и не старуха — стоит перед большой картой Советского Союза и медленно осознает, что всё это — ее страна. Что недельный путь в санном караване из родной деревни в столичную Казань на этой карте — короче ее пальца. А многомесячное путешествие по железной дороге из Казани в Красноярск — длиной с ее руку. Так, через соотнесение с собственным телом, она впервые в жизни задумывается о величине мира и о количестве людей, его населяющих... Тогда я еще не понимала, сколько этой женщине лет, куда ее везут и с кем. Знала лишь, что зовут ее Зулейха и что едет она не по своей воле, в ссылку. Я записала эту сцену — на кухне, в ночи, когда домашние уже спали.

Спустя пару недель перечитала. В коротком тексте было что-то живое, какое-то обещание. Так случается не всегда, к сожалению: иногда собственные тексты при возвращении к ним оказываются холодными, мертворожденными. А этот — жил. Более того, захотелось дописать несколько строк: Зулейха неожиданно дала понять, что ее разъедает страх — не за себя, а за маленького сына, которого она не то родила недавно, не то вот-вот родит... Мысль о том, чтобы написать о раскулаченной крестьянке — рассказ, повесть? — возникла и осталась висеть где-то в закоулках сознания, с большим вопросительным знаком.

Раскулачивание — часть истории моей семьи. Бабушку по материнской линии, Раису Шакировну Шакирову, в семилетнем возрасте выслали вместе с родителями в Сибирь, на Анггару. Там, в таежном трудовом поселке Пит-Городок, она провела шестнадцать лет — с тысяча девятьсот тридцатого по

сорок шестой. Вернулась в родные края уже самостоятельной женщиной, с педагогическим образованием. Родной язык подзабыла, лучше говорила по-русски, причем с крепким сибирским оканьем. Стала работать учительницей — преподавать в начальной школе русский язык. Скоро вышла замуж за директора школы, моего будущего дедушку. И пошла новая, спокойная жизнь: дети, внуки...

Я была ее первой внучкой — полигоном для педагогических экспериментов: отработки старых методик и испытания новых. Можно сказать, бабушка меня вылепила. Хорошо помню ее в те годы: крашенные рыжие кудри штопором, глазищи зеленые горят, губы — непременно ярко-красные... У нас были сложные отношения и при этом очень близкие. Она много рассказывала о своем прошлом. Конечно — и о Сибири.

О том, как переселенцев высадили на берегу притока Ангары, в глухой тайге — с приказом строить поселок. Как копали землянки и жили в них. Умирала. Боялись идти в лазарет и принимать прописанные лекарства — ходили упорные слухи, что медперсоналу дано указание уничтожить всех детей в поселке. Как зацветали весной цветы. Как собирали морошку в тайге — казалось, нет вкуснее ягоды. Мыли золото в притоке Ангары: целыми днями мокли в холодной воде, чтобы к вечеру сдать в комендатуру пару добытых крупинок. Как дети бегали в школу, пять километров по тайге, в соседний поселок — синим зимним утром, еще при свете луны, боясь волков. А обувь у всех была плохонькая, и бабушка то и дело снимала с головы шапку и натягивала на окоченевшие ноги, чтобы отогреться...

Бесконечно жаль, что многое ушло, не осталось в памяти. Корю себя, что позже, будучи уже взрослой, не записала ее рассказы на диктофон. Честно признаться, и роман мой написан как запоздалое извинение за эту свою небрежность и невнимательность.

Умерла бабушка пять лет назад. И когда чуть позже в голове возникла сцена с крестьянкой, стоящей у большой карты Советского Союза, я не очень удивилась.

С тех пор потянулось — неторопливо, в редкие свободные часы, как-то необязательно: мысли о Зулейхе появлялись время от времени, она обростала родственниками и знакомыми, совершала какие-то мелкие поступки — то ходила на кладбище, то убирала в доме, ухаживала за скотиной, молилась. (Жизнь в татарской деревне хорошо мне знакома — в детстве много времени провела в доме бабушки и дедушки, где уклад был совершенно крестьянский: вставали и ложились вместе с солнцем; сначала кормили птицу и скотину, только затем ели сами; на порог не наступали, хлеб брали правой рукой, старшим никогда не перечили; а над колодцем висели три черепа — лошадь, баран и корова — обычное дело, у соседей висели такие же...) Что-то я записывала, что-то отметала. Это

была, конечно, еще не история и даже не зачаток ее, а какой-то перво-родный хаос, рыхлый и пугающе объемный. Идея написать книгу про Зулейху и ее ссылку в Сибирь то казалась почти оформившимся решением, то растворялась в потоке ежедневных дел.

В таком вот пунктирном режиме мы с Зулейхой прожили два года. Всё это походило на затянувшийся роман двух слабых людей: ни у кого не хватает воли ни прервать отношения, ни сделать шаг к чему-то более серьезному — браку или рождению детей. И оба мучаются. Из нас двоих Зулейха была очевидно более решительной: приходила настойчиво, с завидной регулярностью. В итоге она победила — я поступила в Московскую Школу Кино, чтобы научиться из царящего в голове хаоса вытягивать, складывать историю.

В юности я очень серьезно готовилась к поступлению во ВГИК на сценарный факультет: за несколько лет перечитала все книги по киноискусству, что были в казанских библиотеках; знала чуть не наизусть раскадровки Эйзенштейна к «Ивану Грозному»; учебник по киномонтажу был настольным... И спустя пятнадцать лет вдруг оказалось, что записать историю в сценарной форме мне легче, чем в литературной. По крайней мере, это дает возможность почувствовать большую историю целиком, от начала и до конца; определить ее исходную и конечную точки; задать темп развития; простроить все нужные линии — персонажные, сюжетные, тематические — и отсечь ненужные.

Я расписала историю Зулейхи в виде сценария полнометражного фильма, довольно длинного, к слову, на сто восемьдесят минут. Это стало моей первой большой учебной работой в Школе (затем последовали еще две — про Туркестан 1919 года и про Поволжье 1930-х—1940-х годов). Вдохновлялась классиками — Эйзенштейном (особенно его «Бежиным лугом», утраченной картиной о коллективизации, от которой остались только некоторые кадры, но даже они дают представление о размахе и мощи режиссерского замысла), Довженко, Герасимовым, любимым Тарковским. Позже, опираясь на сценарную канву, написала текст романа «Зулейха открывает глаза».

На мой взгляд, самое трудное при создании исторического сюжета (не важно, романа или сценария) — нарисовать достоверный драматургический узор истории: это скелет произведения. Когда он найден, нащупан, слеплен — вокруг него без особых усилий нарастает «мясо», образуется и организуется окружающее пространство. При написании «Зулейхи» у меня ушло очень много времени на создание такого скелета. Для того чтобы не заблудиться в длинной истории, в самом начале я волюнтаристски кинула якорь в середину сюжета: решила, что центральной точкой изменения героини будут роды — именно рождение сына (а не тяготы переезда в Сибирь и ссылки, не знакомство с новыми людьми, не отно-

шения с женщиной) станет для нее рубежом между старой и новой жизнью, точкой отсчета. В остальном, слагая драматургию, я шла тем же путем, каким, верно, идут и другие авторы: длительное и глубокое погружение в исторический материал, с одной стороны, и постоянные размышления о героях — с другой.

Нарисовать психологически достоверный образ современника — сложно, а психологически достоверный образ исторического героя — сложно вдвойне: есть риск вытянуть характер в современность — и история обернется сюжетом в исторических декорациях; есть риск упасть в шаблон, нарисованный кинематографом или предыдущими поколениями авторов. Легче, когда при создании образа можно опереться на что-то реальное, настоящее — на старый фотоснимок или портрет, чьи-то воспоминания... К примеру, один из персонажей «Зулейхи» — свекровь главной героини, вредная старуха по прозвищу Упыриха — был вдохновлен образом моей прабабки. От нее остались только пожелтевшая фотография (сидит бабка, с прямой спиной, в платке, повязанном по самые лохматые брови) и рассказы родных. Конечно, она никого не морила голодом, как Упыриха в романе, но нрав имела крутой и сына своего обожала. Благодаря ей характер столетней свекрови в романе нарисовался сам собой. Остальные персонажи в книге — вымышленные, включая саму Зулейху (которую, к слову, я наделила всего двумя чертами бабушки, и то — внешними: зелеными глазами и хрупким телосложением).

Больше всего я опасалась за образ профессора Лейбе. Если молодую татарскую крестьянку Зулейху или идейного красноармейца Игнатова я как-то еще могла себе представить (спасибо детству, проведенному в татарской деревне, и пионерскому прошлому), то пожилого профессора Казанского университета, родившегося в позапрошлом веке, да еще с немецкими корнями, да еще полубезумного, — с большим трудом. Пришлось просить помощи у исторического материала, деталей: я долго бродила вдоль Черного Озера в Казани, по тем улицам, где жил профессор, ходила по коридорам первого здания Казанского университета, напросилась на экскурсию по закрытым университетским залам, проштудировала экспонаты в музее университета... Затем написала главы про Лейбе.

Исторические детали вообще обладают удивительным свойством — помогать, даже направлять. Отношусь к ним с трепетом. Продумав дорожные сцены в вагоне-теплушке, например, я поехала на Рижский вокзал, в музей железнодорожного транспорта; отыскала в экспозиции под открытым небом телячий вагон и долго стояла перед ним, смотрела внутрь — на пустые бурые нары, черную от копоти буржуйку, крошечные оконца под потолком — проигрывала сцены в уме, обкатывала в пространстве. Кое-что изменила в итоге.

А вот на бабушкино место ссылки, в таежный Пит-Городок, так и не съездила. Сам поселок исчез с карты еще в тысяча девятьсот девяносто четвертом; последние фото в интернете датированы две тысячи пятым годом: туристы проплывали мимо на байдарках, увидели развалины домов, наполовину заросшие молодыми деревцами, — и сфотографировали. Думаю, сейчас это место выглядит так же, как в тысяча девятьсот тридцатом году прошлого века, когда на берег высадили первых переселенцев, — тайга забрала обратно тот клочок берега, что люди с трудом отвоевали себе. Честно признаться, я побоялась туда ехать: триста километров по реке — на моторной лодке или байдарке — от ближайшего крупного населенного пункта, города Лесосибирск...

Сценарная версия «Зулейхи» заканчивалась большим эпизодом: возвращением сына Зулейхи Юзуфа, уже восьмидесятипятилетнего старика, в места детства — в заброшенный Семрук, от которого остались развалины, почти съеденные тайгой. По сути — кульминационный эпизод, и в киноверсии он получился. А в литературном тексте — нет, сколько ни старалась: написала, затем переписала, и еще раз... В результате — отрезала, оставив финал открытым. Как оказалось, иногда киноязык отказывается быть переложенным на прозу.

Это была уже вторая моя попытка привязать действие к современности. Первая также не увенчалась успехом: изначально задумала параллельно рассказать два сюжета — собственно Зулейхи и ее правнучки, молодой тридцатилетней женщины, которая по архивным документам расследовала бы жизнь прабабки. Прописала несколько довольно больших глав о правнучке — неплохих, как мне казалось, — но они категорически не желали органично монтироваться с историческим текстом. Пришлось смириться с тем, что Зулейха хочет остаться единственной главной героиней в романе.

Когда книга вышла, мне стали писать внуки и правнуки раскулаченных. Решила для себя: пусть это и будет привязка текста к сегодняшнему дню, эти письма. Они мне все дороги.

А иногда в переписке с читателями всплывают удивительные совпадения, обнаруживаются точные параллели — с книгой и с судьбой бабушки: у кого-то репрессированную бабушку звали Зулейха, у кого-то родные погибли в утонувшей на реке барже по пути в ссылку, у кого-то дедушку сослали в Пит-Городок, где он прожил до послевоенного времени, потом вернулся в родное Поволжье... Жизнь давно уже придумала и разыграла все сюжеты.